

Память и совесть, или Осторожно — мемуары!

*Он вводит нас в какой-то странный мир,
Он вскакивает с выдуманных мест,
Кричит среди оставленных квартир:
— Ко мне, мои любимчики, я здесь.*

И. Бродский. Шествие (вариант)

Я долго колебался — писать или не писать это сочинение. Когда-то — в шестидесятые-семидесятые годы — я занимался параллельно с историческими штудиями литературной критикой особого рода — писал фельетонного типа рецензии и статьи, посвященные исторической малограмотности советских писателей. С малограмотностью и сегодня все в порядке — у меня за последние несколько лет собран целый букет разнообразного вздора, касающегося Кавказа, Шамиля, Кавказской войны. Но заниматься этим что-то не хочется.

Однако постепенно приходит осознание того удивительного факта, что жизнь моих друзей, да и моя собственная, становится, так сказать, историей. И способствует этому появление немалого числа мемуарных текстов, рассказывающих о том, чему я сам был свидетель и участник. Иногда это курьезные ситуации. Например, большая драка, случившаяся в начале шестидесятых на квартире одного преуспевающего ленинградского адвоката. Причем в его отсутствие. Я прочитал воспоминания об этом событии моего старого друга, ныне известного философа Игоря Павловича Смирнова и моей доброй знакомой, ныне пишущей о Достоевском и Канте, Аси Пекуровской. И они описывают ситуацию по-разному, и я-то помню все совершенно иначе, чем каждый из них.

У Игоря Смирнова меня, чтобы протрезвить, кладут в черном костюме в ванну с холодной водой. Черный костюм у меня имелся, и пьян я был, а вот в ванну меня точно не клали.

Ася рассказывает: «...Мы с Ниной (Перлиной. — Я. Г.) немедленно вызволили поэтов. Соснора, оказавшийся в числе приглашенных, был приятно удивлен, найдя в холодильнике, который он не преминул обследовать с дотошностью непризнанного поэта... бутылку коньяка, носившего имя императора... Утонув в подушках “дивана замш”, Соснора споловинил первую бутылку и повел дерзкую речь, обращенную к “сплотившимся на ниве сионизма” Осе Бродскому, Яше Гордину и Осе Домничу... В разгар конфликта разгоряченный Сережа (Довлатов. — Я. Г.) схватил не менее разволновавшегося Соснору в момент, когда тот замахивался на кого-то собственной гитарой... и при помощи рук и ног прочно всадил гитару и ее хозяина в небольшое пространство под телевизором...».¹

Во-первых, Бродского там не было. Это, впрочем, вполне понятная аберрация — Бродский должен участвовать во всех сколько-нибудь значительных событиях... Во-

¹ Ася Пекуровская. Когда случилось петь С. Д. и мне. СПб, 2001, с. 76.

вторых — это деталь, — Соснора никогда не играл на гитаре и, соответственно, собственной гитары не имел.

И в-третьих — это главное, — имело место не противоборство Довлатова с Соснорой, а, так сказать, массовая драка. И причиной ее было вовсе не «антисионистское» поведение Сосноры — это ему в голову бы не пришло.

Причина «конфликта» была куда банальнее — наши хозяйки, Ася, Нина и Галя Гамзелева, совершили довольно распространенную ошибку: они пригласили людей из двух разных компаний. Насколько я помню, в адвокатской квартире присутствовали, кроме Довлатова, Сосноры, Игоря Смирнова, автора этих строк и еще двух-трех наших приятелей, три-четыре молодых человека, мне вовсе не знакомых. Не знаю, как сейчас, а в те времена это приводило по мере распития спиртных напитков к неизбежному напряжению. Не помню непосредственного повода — быть может, и в самом деле это было вызывающее поведение спортивного, крепкого, любившего подраться Сосноры, — но не по отношению к «сионистам», а к «чужим». Одного из них он по ходу дела чуть не задушил на вышеупомянутом диване — мне, несмотря на высокую степень опьянения, удалось, к счастью, это предотвратить.

Скорее всего, Довлатов просто решил выступить в качестве миротворца.

Больше всего пострадал тогда Игорь Смирнов.

Это, повторю, курьез. Но из подобных забавных мелочей складывается представление о литературном быте. Хотя литературный быт нашего круга отнюдь не исчерпывался подобными забавами.

Однако в последние годы стали появляться и тексты далеко не безобидного характера.

Не надо, я полагаю, объяснять, какую роль играют мемуары в историографии, в восприятии потомками — и не только исследователями, владеющими навыками критики источника, но и широким читателем — событий прошлого и, в частности, облика эталонных, так сказать, для своей эпохи личностей.

Что было бы, если бы в распоряжении потомков из воспоминаний о Пушкине остались только свидетельства Корфа, рисующего своего лицейского товарища патологическим эротоманом, и циничным развратником, и вообще личностью ничтожной и отталкивающей. А если к ним прибавить еще и известный пассаж из воспоминаний декабриста Горбачевского, утверждавшего, что Пушкина не приняли в тайное общество, так как он «по своему развратному поведению» непременно выдал бы заговорщиков властям! Каково бы нам пришлось, если бы в распоряжении исследователей и читателей не было массы других свидетельств, позволяющих принципиально скорректировать эти суждения и понять их подоплеку.

Пушкин, разумеется, в быту отнюдь не был ангелом, но к тому отвратному существу, которое рисует Корф, тоже отношения не имел.

Мемуары, этот важнейший для познания мира жанр, определяются как особенностями человеческой памяти, так и нравственными качествами мемуариста. И — что чрезвычайно важно — задачей, которую решает мемуарист, взявшись за перо. Все это вещи элементарные. Если и дальше упрощать проблему, то основные виды мемуаристики можно классифицировать следующим образом: «летописные» тексты, бесхитростно фиксирующие жизненные впечатления автора (что вовсе не гарантирует объективности); концептуальные тексты, когда автор ставит перед собой некие историософские задачи, моделируя историческую ситуацию согласно выбранной установке; и, наконец, мемуары корыстные, когда мемуарист решает исключительно личные задачи, оправдывая или возвеличивая себя — иногда и то, и другое, — как правило, за счет других персонажей. Второй и третий вид иногда пересекаются.

Существует и некий подвид мемуаристики — байки, дающие исследователям ценный психологический, а не фактологический материал, но всерьез воспринимаемые читателем-неспециалистом.

Меня, в данном случае, интересует не теоретическая сторона дела, а вполне конкретная проблема — Иосиф Бродский как персонаж третьего вида мемуаров. И тут совершенно замечательный образец предоставил нам Дмитрий Бобышев своей книгой «Я здесь».² Но, прежде чем перейти к этому основному сюжету, имеет смысл окинуть взглядом фон, на котором появилась книга Бобышева.

Петербургская газета «Смена» отметила 65-летие Бродского (24 мая 2005 года) интервью с Владимиром Евсевьевым, рассказавшим много интересного о нобелевском лауреате. В интервью этом масса мелкого вздора. Например, «Бродский не был геологом, но на своей спине таскал прибор, который определяет наличие урана». Таскать радиометр на спине мог только клинический идиот или злостный халтурщик. Радиометр носят на груди, так как в маршруте нужно непрерывно наблюдать за шкалой, снимать показания и заносить их в специальный журнал. Это, конечно, мелочь, но характерная. А вот куда более замечательный пассаж: «Судьбе было угодно, чтобы именно Александру Бродскому, отцу Оси, поручили сфотографировать Анну Ахматову. Александр Исаевич (отца Бродского звали Александр Иванович. — Я. Г.) решил воспользоваться случаем и авторитетом Ахматовой, чтобы убедить сына бросить писание стихов. Но Ахматова оказалась более прозорливой. Желанием и волей Анны Андреевны недоучка приобщился к мировой культуре. Ахматова давала Осе список книг, которые нужно прочитать. Давала читать свои книги. Наверное, читала ему Гумилева...

Когда б вы знали, из какого сора
Растут стихи, не ведая стыда,
Как желтый одуванчик у забора,
Как лопухи и лебеда...

Думаете, про кого это? Про Осю. Одуванчик у забора — физиологический образ Бродского. Он рано начал лысеть».

Ну, с Евсевьева что возьмешь? Он натура творческая. Но журналист Владимир Желтов, записавший и опубликовавший всю эту ахинею, мог бы не полениться и посмотреть — в каком году написаны знаменитые стихи. И обнаружил бы, что написаны они в 1940 году, когда Ахматова о Бродском и его лысине слыхом не слыхала. Не говоря уже о том, что история знакомства Бродского с Ахматовой рассказана самим Бродским и ничего общего с вариантом Евсевьева не имеет. Но и это, в конце концов, не более чем повод для зубоскальства.

Равно как и следующая замечательная история: «Оказавшись в эмиграции в Америке, Бродский не зажил вольготно. В Гарварде, конечно же, были недовольны тем, что талантом он вытесняет других. Его не хотели переводить на английский язык. Ося начал сам себя переводить».

Очевидно, Евсевьев и Желтов считают, что Гарвард не только единственное учебное заведение в США, но и некая начальствующая инстанция. Это не так. Бродский в Гарварде никогда не преподавал, а Гарвардский университет никак не мог отрицательно влиять на его литературную судьбу. Более того, Бродскому случалось выступать в Гарварде как поэту, и принимали его там очень дружелюбно. Бродского начали переводить на английский еще до его эмиграции, а вскоре после приезда в Америку вышла большая книга его стихов в переводах известного филолога и переводчика профессора Джорджа Клайна. И вообще переводили его много и охотно задолго до того, как он сам перевел некоторое количество своих стихов.

² Дмитрий Бобышев. Я здесь. (Человекотекст). М.: Вагриус, 2003.

Каждый мало-мальский знакомый с предметом это знает, но как быть бедным читателям «Смены», которым морочат голову?

Однако в той же публикации имеется утверждение другого разряда. «Новорожденного (т. е. Бродского. — Я. Г.) привезли в коммунальную квартиру на улице Пестеля, в которой его матери как майору СМЕРШа предоставили полторы комнаты. Кстати, мать Оси во время войны служила на Прибалтийском фронте, и вполне вероятно, что она могла допрашивать другого будущего нобелевского лауреата, которого прямо с батареи притащили в СМЕРШ, — Александра Исаевича Солженицына».

Представляете, что может построить на этой основе наивный исследователь, опираясь на Фрейда, Юнга, еще кого-нибудь? Мать поэта — майор безжалостной контрразведки, руки, небось, по локоть в крови, — стало быть, отталкивание будущего поэта от советской действительности и вообще от миропорядка, неприязнь к родителям, чувство вины, и т. д., и т. п.

Все это — чушь, которой нет названия. Мать Бродского, Мария Моисеевна, не имела никогда никакого отношения ни к СМЕРШу, ни вообще к вооруженным силам. Всю жизнь она была скромным бухгалтером, как говорили тогда — счетным работником. Для тех, кто знал родителей Бродского, добродушная, ироничная Мария Моисеевна, допрашивающая с майорскими погонами на плечах капитана Солженицына, — картина посильнее чего угодно...

Александр Иванович Бродский, отец Иосифа, действительно был майором. Но и он не имел никакого отношения к СМЕРШу, а был военным корреспондентом и всю войну провел на флоте.

«Полторы комнаты» на Пестеля, кстати говоря, родители Бродского просто-напросто выменяли на комнаты в разных коммунальных квартирах, им принадлежавшие, и было это через десяток лет после войны и через полтора десятка лет после рождения поэта. И никакой СМЕРШ тут никакой роли не играл.

Евсеев и Желтов имеют весьма странное, как мы видели, представление о Бродском. Да и, честно говоря, маловероятно, чтобы кто-либо из будущих биографов Бродского решил воспользоваться их творчеством. Разве кто-то уж совсем «желтый». (Извиняюсь перед Владимиром Желтовым за невольный каламбур.)

В отличие от авторов такого рода, мемуарист Евгений Рейн действительно был близким другом Бродского, много о нем знает, и есть вероятность, что к его свидетельствам могут отнестись всерьез. И тут встает ключевая для будущих историков литературы проблема источника.

Евгений Рейн, талантливый поэт и многообразно одаренный человек, в силу особенностей своей одаренности выбрал как мемуарист жанр художественных импровизаций. Они, как правило, беззлобны и безобидны по отношению к Бродскому, но как источник для изучения биографии поэта безусловны. А иногда — по причине крупности фигуры Рейна — и опасны.

Рейн-мемуарист писал о Бродском много и часто. Он взял у Бродского в сентябре 1988 года в Нью-Йорке чрезвычайно важное для будущих биографов Иосифа интервью. Но чем дальше, тем мощнее в его собственные мемуарного типа интервью стала вторгаться его незаурядная фантазия. Не будем останавливаться на мелочах, как правило, довольно забавных, а возьмем для примера описание суда над Бродским. Тем более, что в предисловии к интервью, которое Рейн дал «Известиям» в феврале 2004 года (оно было тут же перепечатано в «Вечернем Нью-Йорке»), сказано: «О том... как проходил процесс, рассказывает непосредственный свидетель происходившего».

Что же рассказывает непосредственный свидетель?

«Процесс пришелся на Масленицу, и мы с друзьями Иосифа, Ильей Авербахом и физиком Михаилом Петровым, пошли есть блины в ресторан гостиницы “Европейская”... А к четырем часам мы пошли на процесс.

Я был там с первой до последней минуты и видел, как из зала суда вывели стенографировавшую Фриду Вигдорову, московскую писательницу, самоотверженно защищавшую Бродского. (Она писала это тайком, зажав в ладонях огрызок карандаша и маленькие листочки бумаги.)

Лернер чувствовал себя хозяином положения. Чтобы нас утратить, он ходил по залу, держа громоздкий советский катушечный магнитофон “Днепр”, и записывал все, что происходило в суде... Комиссию по работе с молодыми ленинградского Союзписа возглавлял некто Воеводин, с прокофьевского благословения он родил удивительный документ: “Настоящая справка дана в том, что И. А. Бродский поэтом не является”. Подпись и печать... Со стороны защиты выступали известный литературовед Эткинд, крупнейший германист Адмони и поэтесса Наталья Грудинина.

Безумная Савельева тут же стала их терроризировать. Кому-то сказала: “мы еще с вами разберемся”. У кого-то отобрала паспорт. Адмони она называла Ашмониным: “Для меня вы Ашмонин!”».

Рейн всегда был великим мастером устного рассказа, в котором реальность сдвигалась и приобретала черты веселого абсурда. Нечто подобное часто происходит с его интервью — на что он имеет полное право, пока не выдает этот художественный текст за реальное свидетельство. Тут, как уже говорилось, возникает проблема источника.

Рассказ о суде имеет весьма слабое отношение к тому, что происходило на самом деле.

Я не помню Рейна в зале суда. Но это, в конце концов, может объясняться дефектом моей памяти. Однако Рейн сам дает серьезный повод для сомнений.

Михаил Петров уверенно утверждает, что на суде не был. И не верить ему нет ни малейших оснований. Он многие годы дружил с Иосифом, они часто виделись в девяностые годы в Америке — Михаил Петров пять лет работал в Принстоне, — и свое пребывание на суде он вряд ли забыл бы. Более того, он хорошо помнит посещение ресторана, но утверждает, что это было в совершенно другой день.

Не был на суде и Авербах.

Вообще, этакая вольготная картина — поели блинов в «Европейской» и отправились на суд — плохо соответствует тогдашней ситуации. Суд был полузакрытый. Для того, чтобы попасть в зал, надо было прийти на Фонтанку, 22, к клубу Строительно-монтажного управления, задолго до начала процесса. Те друзья и знакомые Бродского, кому удалось присутствовать на суде, предварительно долго мерзли на улице. Те, кто появился перед самым началом, в зал не попали, основную его часть заполнили рабочими завода «Электропульт», привезенными на автобусах. Стоять в зале суда, как известно, не разрешается.

Видеть, как из зала суда выводили Фриду Вигдорову, Рейн никак не мог. Из зала действительно вывели по ходу процесса несколько человек, которые, по мнению охранявших порядок дружинников, вели себя вызывающе. Вывели молодого архитектора Александра Раппопорта, вывели ученого-химика Юрия Варшавского, вывели геофизика Генриха Штейнберга, ныне академика, вывели крупного в прошлом советского дипломата, близкого сотрудника Литвинова, а затем политзаключенного Евгения Гнедина, который пришел вместе с Вигдоровой. Сама же Вигдорова находилась в зале до конца. Ей, сравнительно незадолго до окончания суда, судья Савельева запретила вести запись. (Именно запись, а не стенограмму, — обычная ошибка.) И писала она вовсе не огрызком карандаша на маленьких листочках, а шариковой ручкой в нормальном журналистском блокноте, ничуть не скрываясь. Она приехала как корреспондент «Литературной газеты» и считала себя вправе фиксировать то, что ей было нужно.

Лернер, разумеется, по залу суда во время судебного разбирательства не расхаживал. Даже ему никто бы этого не разрешил. Есть фотографии, на которых он сидит за отдельным столом недалеко от судьи, а перед ним стоит магнитофон.

Евгений Воеводин никогда не возглавлял комиссию по работе с молодыми. Ее возглавлял тогда Даниил Александрович Гранин. Воеводин был секретарем комиссии, то есть техническим работником. Он действительно по приказу Прокофьева и без ведома Гранина и большинства членов комиссии написал бумагу от имени комиссии, но ничего общего с анекдотическим текстом, придуманным остроумным Рейном, она не имела. Это была развернутая отрицательная характеристика Бродского.

Судья Савельева действительно вела себя по-хамски, но совершенно в ином стиле. Она издевательски скрупулезно соблюдала формальности. Ни у кого она, естественно, паспорта не отбирала и отобрать не могла. Адмони она, разумеется, Ашмониным не называла. Наоборот, она потребовала, чтобы Владимир Григорьевич Адмони назвал свою фамилию полностью, в соответствии с паспортом, — Адмони-Красный. Исказить фамилию свидетеля, что было бы зафиксировано в протоколе суда, — то есть совершать грубое нарушение процедуры — она бы не стала ни при каких обстоятельствах. Когда Ефим Григорьевич Эткинд назвал свое имя-отчество, она потребовала, чтобы он повторил его в соответствии с записью в паспорте — Ефим Гиршевич. Формально она была права, но делала это издевательским тоном, подчеркивая национальность свидетеля.

Пятичасовой суд был торжеством абсурда, но абсурда жестокого, а не забавного. И что бы потом ни говорил Бродский, для него это было тяжелейшим испытанием. На одном из вечеров его памяти Борис Тищенко, с которым Бродский был очень близок в начале шестидесятых, прочитал письма, написанные ему Иосифом из Архангельской пересыльной тюрьмы. Это документы трагические в полном смысле слова. Суд и приговор Бродский воспринимал как тяжелейшую, гибельную несправедливость. Другое дело — он не хотел, чтобы это трактовалось другими как центральное событие его жизни. И когда он сказал Соломону Волкову: «Я отказываюсь это драматизировать!», то он имел в виду, что его жизненная драма разыгрывалась и разыгрывается в сфере куда более высокой, чем советская юриспруденция.

Но есть еще один аспект ситуации — влияние суда над Бродским на общественное сознание шестидесятых. Хамство Хрущева по отношению к Вознесенскому, после чего тот в панике стал писать поэму о Ленине, вполне укладывалось в систему отношений интеллигенции и власти «вегетарианского периода». То, что проделали с Бродским, было зловещим свидетельством перелома. Обстоятельства и способ расправы с Бродским привел к полному крушению иллюзий у тех, кто хотел и мог трезво оценить происходящее. Этот культурный и политический феномен заслуживает внимательного изучения еще и потому, что с письма сорока девяти молодых ленинградских литераторов с требованием пересмотра приговора началось движение «подписантства», разгромленное властью только в конце шестидесятых. Под этим письмом, кстати говоря, стояли подписи Рейна и Бобышева.

По мемуарным интервью Евгения Рейна разбросано много неточностей, иногда забавно-безобидных, иногда вполне принципиальных. «За него хлопотали Чуковский, Маршак, Ахматова, даже Шостакович что-то подписал. И в августе 1965 года Бродского не реабилитировали, а амнистировали — простили... Он приехал не в Ленинград, а в Москву, ко мне на Мясницкую, 13. Был август 1965 года...».

Ссылка Бродского кончилась не в августе, а в конце сентября. Но существенно не это.хлопоты корифеев советской культуры никакого влияния на власть не оказали. Решающим было предупреждение «друга СССР» Жана-Поля Сартра, что на Европейском форуме писателей советская делегация из-за «дела Бродского» может оказаться в трудном положении. На Западе была уже переведена и широко известна запись Вигдоровой.

Бродского не амнистировали. Никто его не прощал. Верховный Суд пересмотрел его дело и, признав приговор в принципе правильным, просто сократил срок до реально отбытого.

В интервью «Общей газете» (21—27 марта 1996 года) Евгений Рейн рассказал несколько занятных историй. «Когда Иосиф вернулся из ссылки... ленинградское отделение “Советского писателя” предложило ему составить книгу. Он вообще редко очень составлял свои книги сам... Издательство прочитало рукопись и — отвергло. Мол, пусть Бродский предоставит все свои стихи, а уж редактора отберут. Иосиф согласился. Издательство книгу составило. Но когда Иосиф ее увидел, он ужаснулся. Это был сплошной третий сорт, какие-то кусочки, обломки... Но взамен издательство предлагало немедленно договор, какие-то деньги. Друзья советовали ему деньги взять. А там видно будет».

Разумеется, ни при какой погоде Бродский не согласился бы доверить составление своей первой в России книги неизвестным ему людям. Он составил книгу сам, и в этом виде рукопись длительное время рассматривалась и в издательстве, и в различных инстанциях. Одних внутренних рецензий было около десяти. Все они были положительные, кроме двух — короткого отзыва Л. Куклина и развернутого «анализа» И. Авраменко. Они формально перевесили рекомендации Вадима Шефнера, Леонида Рахманова, Веры Пановой, очень известного тогда критика Сергея Владимировича... Но только формально. Судьба книги решалась не в издательстве. В какой-то момент обком и КГБ решили в принципе перечеркнуть эту идею. Несомненную роль сыграло участие Бродского в «вечере творческой молодежи» Ленинграда 30 января 1968 года, вечере, который вызвал грандиозный скандал и роковым образом сказался и на литературной судьбе Сергея Довлатова.

История составления книги и прохождения рукописи Бродского в «Советском писателе» хорошо известна. Издательское «дело» было опубликовано Дедюлиным в «Литературном приложении» к «Русской мысли», а затем проанализировано в статье А. Успенской «О первом неопубликованном сборнике стихов Иосифа Бродского» (сб. «Иосиф Бродский и мир». СПб: Изд. журнала «Звезда», 2000).

И что же это за друзья, которые советовали Иосифу взять деньги за книгу, которую он не собирался выпускать? Можно только догадываться...

Есть у Евгения Рейна и свой вариант высылки Бродского: «...10 мая Бродского вызвали в ГБ... Иосиф успел только спросить: “Куда же я поеду?”, а гэбэшник уже выдвинул ящик письменного стола, достал оттуда чистый бланк израильского вызова и начал его заполнять...».

Ну, вызывали Бродского, положим, не в ГБ, а в ОВИР, где с ним беседовал и в самом деле офицер КГБ. Но не в этом суть. Рейн рисует замечательно выразительную сценку, но, увы, действительности не соответствующую. Бродский сам неоднократно рассказывал в интервью об этом разговоре. Его пригласили именно в ОВИР, потому что у него уже был израильский вызов — и не один. (Но он не собирался ими воспользоваться.) И совершать столь примитивный подлог его кураторам не было надобности.

Вообще, интервью Рейна о Бродском, если их воспринимать как мемуарные тексты, — энциклопедия разнокалиберных легенд. Есть и просто мелкие нелепости, основанные на некритичном использовании полученных сведений. Так, он сообщает в том же интервью «Общей газете» об отце Иосифа — Александре Ивановиче: «Он был сыном кантониста, боевым офицером...». Александр Иванович, человек в своем роде замечательный, не был «боевым офицером» — он был военным корреспондентом. А уж «сыном кантониста» он не мог быть никоим образом. Институт кантонистов — солдатских детей (среди них было немало сыновей крещеных евреев), которых в специальных школах готовили к военной службе, был упразднен в 1856 году. И когда сам Бродский в интервью Рейну говорит: «Дед мой был из кантонистов, он отслужил 25 лет в армии», то повторяет не очень точно семейное предание. Уж Александр Иванович должен был знать, кем был его отец. Для того чтобы прослужить 25 лет в армии

и быть кантонистом, дед Иосифа должен был родиться этак году в 1820-м — после военной реформы 1860-х годов срок солдатской службы был радикально сокращен. Кантонистом мог быть — в лучшем случае! — прадед Бродского.

Но хочу повторить — поскольку такое понятие, как «ответственность мемуариста» Евгению Борисовичу чуждо по особенностям его дарования, то и относиться к его рассказам нужно соответствующим образом — как к художественным текстам. Однако если бы интервью Евгения Рейна, посвященные Бродскому, были собраны под одной обложкой и подробно прокомментированы — была бы чрезвычайно любопытная, полезная и увлекательная книга.

Бродский незадолго до смерти просил своих наследников и душеприказчиков по возможности препятствовать сочинению его биографий, а своих друзей — не способствовать появлению его жизнеописаний. Причина понятна. Он с отвращением думал о развязном вторжении в его личную жизнь. Он читал дневники Блока и, вполне возможно, помнил жестокие слова, адресованные молодому размашистому критику (ставшему впоследствии замечательным литератором): «Зачем он лезет своими одесскими лапами в нашу умную петербургскую боль?». Эта фраза прекрасно передает ощущение, которое испытывает человек с нормальными нравственно-эстетическими критериями, читая сочинения типа: «Лодка Иосифа Бродского утонула в треугольнике. Любовном». Таким образом «Комсомольская правда» отметила сорокалетие суда над Бродским. А сочинений таких немало.

Я недаром вспоминал барона Корфа, члена лицейского братства, которое считается неким эталонным содружеством. Известная формула: «Боже, защити меня от друзей, а с врагами я справлюсь сам» слишком часто находит подтверждение в реальных человеческих судьбах. Вряд ли имеет большое значение то, что говорил о Пушкине император Николай, плохо его знавший и совершенно не понимавший. Но сколь резкие, столь и несправедливые отзывы Вяземского — в разные времена — другое дело. Стихи «Друзья мои, прекрасен наш союз! Он, как душа, неразделим и вечен», — были обращены и к Модиньке Корфу, злобно оболгавшему своего соученика.

У Бродского есть строка: «Я любил немногих, однако сильно». Он действительно любил своих друзей, пока они давали хоть малейшую возможность. Но Господь не защитил его ни от двусмысленных сочинений Анатолия Наймана, которому Иосиф посвятил первую главу «Петербургского романа»: «Храни Вас Боже, Анатолий...». Ни тем более от уникальной в своем роде книги Дмитрия Бобышева, к которому — было время — Бродский относился с нежностью. Я тому свидетель.

Да и сам Бобышев имеет неосторожность воспроизвести в книге машинопись «Элегии и стансов к Дмитрию Бобышеву» с трогательной надписью Иосифа.

Книга «Я здесь. (Человекотекст)» написана, на мой взгляд, ради Бродского. И подзаголовок, надо отдать Бобышеву справедливость, очень точен. В данном случае текст — во всех своих измерениях: от стилистической безвкусицы до смысловой истеричности — это человек, то бишь автор.

В заголовок данной статьи вынесены два понятия — память и совесть. Вот и попробуем рассмотреть их в применении к «человекотексту».

Начнем с памяти. Это вещь для мемуариста немаловажная. Чтобы понять, насколько основателен слой, обращенный к Бродскому, проверим — хотя бы выборочно — память автора на других персонажах и ситуациях.

Вот глава о Давиде Яковлевиче Даре и Вере Федоровне Пановой. Как считает Бобышев, Дар «женился... на писательнице же Вере Пановой, лауреате Сталинской премии, что было не фунт изюму... Вряд ли своей карикатурной внешностью он прельстил Веру Федоровну, тоже, впрочем, уже белесо-рыхлую в те годы, но, судя по наружности и статьям ее сына от предыдущего брака, Бориса Вахтина... умевшую выбирать себе породистого напарника» (с. 184).

Есть в книге Бобышева удивительная особенность — презрительное высокомерие по отношению к людям, о которых он имеет вполне туманное представление. У читателя «человекотекста» может сложиться впечатление, что пожилая Вера Федоровна вышла замуж за пожилого Дара, можно сказать, на глазах у Бобышева, что-нибудь — в середине шестидесятых. На самом деле они познакомились, когда Вера Федоровна, во время войны, работала в госпитале, где лежал тяжело раненный командир разведвзвода Давид Рывкин (позже взявший псевдоним). И была она тогда молодой женщиной. Эту романтическую историю знали все, кто был сколько-нибудь близок к семье Дара—Пановой. Вряд ли не знал ее и Бобышев, но память его, так сказать, избирательна. Не лучшее качество для мемуариста.

А пассаж относительно «породистого напарника» имеет уже непосредственное отношение к проблеме совести. Борис Вахтин, отец Бориса и Юрия Вахтиных, был не «породистым напарником», а мужем и трагической любовью Веры Федоровны. Он погиб в тридцатые годы во время Большого террора.

Дар женился не на лауреате Сталинской премии, а на вдове репрессированного с тремя детьми на руках.

Вообще о внутренних делах этой семьи у Бобышева представления своеобразные и неизменно уничижительные: «Наконец она (Вера Федоровна. — Я. Г.) умерла, и оципаный после тяжбы с другими ее наследниками Дар надумал уехать в Израиль».

Моя учительница литературы любила говорить: «Первая заповедь старшекласника — не рассуждать о том, чего не знаешь». Бобышев, далеко не школьник, этой заповедью постоянно пренебрегает. Когда Вера Федоровна умерла, они с Даром были уже в разводе, Давид Яковлевич жил отдельно, никаких имущественных претензий не имел и иметь не мог и никаких тяжб с «другими наследниками» не вел, ибо наследником не являлся.

И в Израиль он собрался по совершенно другим причинам.

Примеров этой высокомерной презрительности можно привести сколько угодно. Вот описывает автор «парад поэзии в Горном институте, как сказали бы теперь — презентацию сборника поэтов-горняков. Вот он передо мною, этот ротапринтный сборник с пометкой “На правах рукописи”... В отличие от громко-столичных это скромное культурное событие не вызвало дискуссий в прессе, ведущей к запоминанию авторских имен...». Что-то здесь не то — знаменитый сборник горняков был изъят до всяких презентаций и сожжен во дворе Горного института.³ Очевидно, Бобышев по своему обыкновению что-то перепутал. Но не в том дело. Важно — как это описано: «...Перепуганным кукольным Глеб (Семенов. — Я. Г.) выдергивал своих марионеток, одетых в геологические тужурки, на сцену». Или: «— Лишаю вас слова! Если вам не нравится — уходите! — заверещал на него Глеб Семенов» (с. 199—200).

Глеб Семенов был замечательным поэтом и человеком с поистине трагической судьбой. Выпущенный в этом году «Новой библиотекой поэта» том его стихотворений впервые дает представление о его истинном месте в русской поэзии. Цену ему как человеку и литературному деятелю знали и в те времена. И тон, которым Бобышев пишет о Глебе Сергеевиче, свидетельствует прежде всего о масштабе личности самого мемуариста. Очевидно, Глеб Сергеевич недостаточно оценил дарование Бобышева?

Избирательность памяти Бобышева имеет в каждом отдельном случае очевидную подоплеку. Вот он перечисляет членов литературной группы «Горожане»: «Вахтин... Марамзин, Губин, Довлатов, успевший по молодости вскочить лишь в последний вагон отходящего в историю поезда» (с. 185). Довлатов действительно присоединился к «горожанам» в самом конце существования группы. Но странным образом Бобы-

³ Подробно эта история описана в книге участницы создания сборника Елены Кумпан «Ближний подступ к легенде». (СПб: Изд. журнала «Звезда», 2005). Если Бобышев имеет в виду первый сборник, то, по свидетельству Елены Кумпан, никаких презентаций по его поводу не было.

шев забыл одного из основателей группы и издателей этого самиздатского сборника — Игоря Ефимова. Бобышев не мог его не помнить. Ефимов был в шестидесятые-семидесятые годы одной из самых крупных и активных фигур молодой литературной жизни Ленинграда. Чем же Ефимов не угодил Бобышеву?

Бобышев считает, что Арсений Рогинский был арестован из-за самиздатского журнала «Евреи в СССР»: «Журнал “Евреи в СССР” оказался отчасти провокатором, проявляющим бюрократическую ситуацию для отъезжающих: о нем звенели “враждебные радиоголоса”, за ним не прекращалась слежка. Но результаты всех этих перипетий были непредсказуемы: уехал Дар, но был арестован Рогинский» (с. 192). Никакого отношения Рогинский к этому изданию не имел.

Рогинский был арестован и осужден по липовому делу о подделке подписей на отношениях в Отдел рукописей Публичной библиотеки. Даже если бы он их подделывал — а на суде это доказано не было, — за это полагалось исключение из библиотеки. Рогинский получил четыре года и отсидел их в тяжелых условиях. Подлинной причиной гнева властей была ключевая роль Рогинского в сборе материалов и издании сначала в США, а потом в Париже исторического альманаха «Память», с уникальными публикациями, касающимися прежде всего советского периода. Но это «пришпиливание» Бобышевым разных лиц к еврейской проблематике имеет, как мы увидим, так сказать, дальний прицел.

Очень характерна история с несостоявшимся альянсом Бобышева и Детгиза. История второстепенная по смыслу, но демонстрирующая метод препарирования любых событий.

Бобышев придумал тогда очень оригинальную и увлекательную интеллектуальную игру, на основе которой можно было написать вполне захватывающую детскую книжку. Как он справедливо пишет, многие молодые писатели, находящиеся на подозрении у власти, нашли тогда прибежище в детской литературе: Ефимов, Марамзин, Голявкин, Вольф... Это была давняя традиция: в тридцатые годы обэриуты — спасибо Маршаку — могли не только заработать на хлеб в этой сфере, но и стали классиками детской литературы. А Евгений Шварц?

Бобышев так описывает эту историю: «Теперь оставалось предложить издателю этот формирующийся в моей голове шедевр, подписать “Договор о намерениях” и получить аванс. Три “ха-ха”! Долго я ходил по сонным кабинетам “Детгиза”, и тетушки с вязанием лишь глядели недоуменно, а я легко читал их мысли. Но своих обстоятельств не просчитывал» (с. 336).

Все это чистейшей воды фантазии. «Детгиз» — при всех своих советских неизбежных чертах — был живым издательством, в котором шла интенсивная работа. Бобышев радикально себе противоречит. Только что он писал о своих сверстниках и приятелях, успешно издававших в «Детгизе» очень недурные книги. Никаких тетушек с вязанием в издательстве и в помине не было. Почему же именно на него редакторы «глядели недоуменно», а на того же Марамзина, которого категорически не желали издавать взрослые издательства, смотрели с пониманием и симпатией?

Как говорится в популярной радиопередаче: «А на самом деле это было так!».

Бобышева в «Детгиз» привел автор этой статьи и был свидетелем происшедшего. Мы с Димой тогда приятельствовали — это было незадолго до печальной истории, рассорившей Бобышева с большинством его друзей. Он рассказал мне идею книги. А у меня готовился к изданию в «Детгизе» стихотворный перевод очень славной нанайской сказки. И я повел Диму к моему редактору — Доре Борисовне Колпаковой, молодой, чрезвычайно энергичной женщине, очень заинтересованной в новых авторах. Бобышевская идея ее заинтриговала, и она попросила его — это была обычная практика в отношении новых для любого издательства авторов — представить пробный

фрагмент рукописи в машинописном виде. Бобышев возмутился — его заставляют тратить деньги на машинистку без всяких гарантий?! Я сдуру его поддержал. Дора Борисовна развела руками. Ей и в самом деле начальство не позволило бы заключить договор с неизвестным автором по листкам, написанным от руки.

То, что мы знали себе цену, — было хорошо. Но в данном случае вполне реальный проект был погублен нашей с Бобышевым вздорностью.

Все остальное, о чем пишет Бобышев по этому поводу, — кружева вокруг собственной выдумки.

Зачем он это делает — понятно. «Человекотекст» должен представить миру судьбу изгоя, которого в большом и малом преследует несправедливый рок. А он — «под гнетом яростного рока» — остается верен себе: «Я здесь».

Ничего дурного во всем этом нет. Каждый вправе выстраивать свою биографию для потомков, как он считает нужным. Бродский в своих многочисленных автобиографических интервью делал то же самое. Но между ним и Бобышевым в этом отношении существует принципиальная разница — Бродский не трансформирует фактическую сторону своей жизни за чужой счет — отрицательные характеристики встречаются у него крайне редко. Бобышев делает это сплошь и рядом. Это — смысловой стержень его книги. При всей своей гордости, доходящей до гордыни, при всем сознании силы своего дарования Бродский постоянно возвращается к мысли о собственном человеческом несовершенстве. Один из мемуаристов вспоминает, с какой напряженной серьезностью относился Бродский к стихам Пушкина «Когда для смертного угаснет шумный день...» с их горьчайшей концовкой:

И с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклиная,
И горько жалуясь, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю.

В одном из самых последних своих стихотворений он писал:

Меня упрекали во всем, окромя погоды,
И сам я грозил себе часто суровой мздой...

Чего в нем не было с юности, так это — самодовольства. А именно самодовольством пропитана книга Бобышева. Причем самодовольство это смешано с мстительной обидой на судьбу и всех, кто в свое время не оценил как дарования автора, так и чистоту его намерений во всех случаях жизни. Смесь, надо сказать, довольно опасная и провоцирующая человека на самооправдание в любой ситуации.

Позволю себе мемуарный экскурс. Году в шестьдесят третьем, но еще до того, как Бобышев стал «соперником Бродского» — так названа глава в книге, — жена одного из наших общих друзей, за которой Дмитрий Васильевич тоже ухаживал, рассказала мне об этом и в ответ на мое удивление объяснила: «Дима решил — раз он не такой красивый, как Толя (Найман), не такой элегантный и высокий, как Женя (Рейн), не такой талантливый, как Иосиф (Бродский), то ему будет все можно!».

Женская интуиция подсказала нашей приятельнице то, что стало понятно только через много месяцев.

В «человекотексте» есть страницы, которые можно считать этическим камертоном книги. Это страницы, где автор повествует о своих романах с женами друзей, иронизируя над мужьями и называя имена. При том, что его гипотетические любовницы здравствуют, равно как и их мужья. Ничего не скажешь, джентльмен... Были

эти романы или не были — пусть останется на совести Бобышева, но какова должна быть жажда самоутверждения, если человек решает вынести подобные истории на всеобщее обозрение.

Очевидно, Бобышев считает, что это — универсальный способ доказать свое превосходство над более успешными современниками.

Этот комплекс ретроспективно многое объясняет и в ситуации с Бродским и Мариной Басмановой.

«Человекотекст» — это вполне понятная попытка объясниться с потомками по поводу конфликта, лишившего Бобышева большинства его друзей и вообще изменившего его жизнь. Само по себе это желание могло бы вызвать сочувствие, если бы не целая система подтасовок, на которых держится выстроенная Бобышевым легенда.

Причем тенденция эта идет по нарастающей. Когда Бобышев критически и свысока отзывается о ранних стихах Бродского — это его право. Тем более что в его оценках есть доля истины. Но когда дело доходит до конкретных жизненных ситуаций, то память автора неизбежно трансформирует их соответствующим образом.

Вот Бобышев рассказывает историю ссоры Бродского с Дмитрием Евгеньевичем Максимовым из-за некоего академического недоразумения с Натальей Горбаневской, тогда студенткой-заочницей Максимова. «Как раз тогда вернулся из Москвы Бродский и взялся за мщение. Он сочинил эпиграмму на Максимова, отпечатал ее по 9 экземпляров на страницу (умножим это на четыре копии) и, пробравшись в комаровский Дом творчества, подсовывал разрезанные листки под двери писателей» (с. 330).

Бродский, «пробирающийся» в Дом писателей и подсовывающий 36 экземпляров своей эпиграммы под писательские двери, то есть почти в каждую комнату Дома, выглядит, конечно же, вполне идиотически.

А на самом деле это было так. «Пробираться» (тонкий стилистический ход, уничтожающий объект рассказа!) в Дом творчества не было ни малейшей надобности. Туда можно было просто прийти. Вся эта история разворачивалась на моих глазах. Более того, я был ее невольным участником. Она, кстати, подробно рассказана в уже упомянутых воспоминаниях Елены Кумпан, тоже участницы событий («Ближний подступ к легенде»). Лена жила в это время в Доме творчества. Мы с Бродским были у нее в гостях. Бродский, разозлившись на Дмитрия Евгеньевича за излишний, по его мнению, педантизм, действительно написал злую эпиграмму, обыгрывающую внешность Максимова. Она была напечатана на машинке Лены Кумпан в единственном экземпляре. Дмитрий Евгеньевич тоже в это время жил в Доме творчества. Жила там и семнадцатилетняя дочь Глеба Семенова Ксана, которая вызвалась подсунуть эпиграмму под дверь самого Дмитрия Евгеньевича. Сделано это, очевидно, не было. Экземпляр хранится у Ксаны, но до Максимова эпиграмма каким-то образом дошла. Разумеется, всех нас эта проделка отнюдь не красила. Максимов смертельно обиделся. На следующий день он звонил мне, не зная о моем «сообщничестве», и советовался — как ему поступить: не вызвать ли Бродского на дуэль? Он был воспитанником Серебряного века, а его учителя относились к дуэльной традиции всерьез — как известно, Гумилев стрелялся с Волошиным, Вячеслав Иванов — что менее известно — стрелялся в Баку, где преподавал во время Гражданской войны, с профессором Бакинского университета Багировым. Мандельштам вызывал на поединок Шершеневича.

Я предложил Дмитрию Евгеньевичу другой вариант — написать ответную эпиграмму на Бродского. Что он и сделал.

Еще два замечания по поводу этого сюжета. У Бобышева нет никаких оснований писать о Максимове в своем обычном презрительном тоне: «Он считался специалистом по Блоку, но поскольку Блок был одно время под запретом, прикрывался Лермонтовым... Он платил осторожные дани Серебряному веку, с сочувствием интере-

совался современной (даже неофициальной!) литературой и слыл за либерала. Но, с одной стороны, — реликт былой культуры, с другой — продукт своего времени, он был то ли бит, то ли пуган и очень уж осторожничал. А поговорить красно о Блоке с любого места — что ж, это милое дело, это мы и сами теперь умеем» (с. 330).

Дмитрий Евгеньевич не «считался», а был тонким и глубоким знатоком творчества Блока. Он много лет вел в университете спецсеминар по Блоку (о чем Бобышеву, очевидно, не известно). Лермонтовым он не «прикрывался», а любил и изучал его. Лермонтов — это ведь не советский классик, и никаких особых дивидендов обращение к нему принести не могло. Дмитрий Евгеньевич был блестящий лектор-просветитель. Причем просветительство его было отнюдь не просто фактологическим. Он открывал своим слушателям, так сказать, душу Серебряного века, принципиально отличную от советской духовную стихию. Именно этим определялась его профессорская популярность и особое место в тогдашней ленинградской культуре. Да, он был человек осторожный, тяжело травмированный разгромом его круга в тридцатые и сороковые годы. Но, во-первых, я что-то не помню, чтобы небитый и непуганый Бобышев так уж лез на рожон. Женитьба на американке — дело абсолютно естественное — вряд ли может считаться политическим вызовом. А во-вторых, поведение Дмитрия Евгеньевича в истории с Натальей Горбаневской, которое тогда нас всех покорило, объяснялось отнюдь не политическими мотивами, а некоторой академической ограниченностью. Я и сейчас считаю, что Дмитрий Евгеньевич мог проявить большую широту, учитывая одаренность своей студентки. Это, однако, не извиняет оскорбительно-высокомерный тон Бобышева.

Вполне возможно, что Бобышев может «красно поговорить о Блоке с любого места» — Дмитрий Васильевич человек начитанный, — но что он обладает фундаментальным и тонким знанием Максимова — сомневаюсь.

Кстати, злая эпиграмма на отца и сына Воеводининых, которую Бобышев приписывает Бродскому или Горбовскому и противопоставляет и в самом деле не слишком удачной эпиграмме на Максимова, — принадлежит Михаилу Дудину.

Бобышев, конечно же, литератор опытный, очень умело готовит читателя к главной идее, которая формулируется просто: Бродский всегда занимал не свое место — и возле Марины Басмановой, и на Парнасе, и в общественном мнении.

У меня нет ни малейшего желания касаться «любовного треугольника». Тем более что, по глубокому моему убеждению, этот аспект подробно разработанного Бобышевым сюжета есть производное от ситуации более фундаментальной. И словосочетание «Соперник Бродского», — так называется центральная по смыслу глава книги, — имеет, смею предположить, для Бобышева куда более широкий смысл, чем просто любовное соперничество. Собственно, Бобышев этого не скрывает — и это его право. Но вот какими методами он отстаивает свою позицию — вопрос другой. И об этом стоит говорить.

Тут придется привести обширную цитату. Бобышев навел Бродского после опубликования известного фельетона «Окололитературный трутень», хотя друзьями они уже, как пишет автор, не были. И оказался свидетелем чрезвычайно важной, по его мнению, сцены: «...Послышались шаги, голоса, вошел его отец в пальто и кепке, а с ним еще трое солидного возраста мужчин, одетых почти одинаково. На их плечах широко висели добротные “мантилы” песочного цвета, а на головах прямо стояли шляпы “федоры”, причем без залома. Я и прежде встречал людей подобного, хотя и консервативного, но не совсем обычного вида на улице и не знал, кто они, а теперь догадался. Молодец, Александр Иванович! Он решил спасти сына по-своему, верным способом.

— Вот он, герой... — с упреком указал он на Иосифа.

— Покажите, что там у вас есть, — сказал старший, не раздеваясь и не снимая “Федоры”.

— Вот, вот и вот... — заторопился Иосиф, протягивая ему листки... Все ясно. Жозеф сунул ему “Еврейское кладбище” и “Пилигримов” из-за тематики. Но это же все старое. А, кстати, я и не знал, что “Пилигримы” — это про евреев, — думал, что про поэтов. Впрочем, ведь Цветаева... И я решил высказать им в помощь свое мнение:

— Это же совсем ранние стихи. Сейчас он пишет гораздо сильнее, масштабнее... Иосиф, покажи лучше “Исаака и Авраама”.

— А что здесь делает этот гой? — пробормотал раввин.

Иосиф сунул мне пальто и, обняв за плечи, незамедлительно вывел на лестницу.

— Извини, поговорим в другой раз...

По этой линии он и достиг многих, если не всех, успехов: гонение на него было расценено как пример национально-религиозного притеснения всех советских евреев (антисемитизм) и в дальнейшем послужило подтверждением и символом для уже принятых больших и практических мер: поправки Ваника—Джексона к закону, выгодного статуса “беженцев” и других привилегированных программ для еврейских иммигрантов в Америке» (с. 354).

Разберемся по порядку в этом удивительном тексте. Прежде всего — характерная мелочь. Фельетон в «Вечернем Ленинграде» был опубликован 29 ноября 1963 года. Вряд ли Бобышев пришел к Бродскому на следующий день. Стало быть, речь идет о начале декабря. А хоть бы и на следующий. В Ленинграде это уже зима, и даже такие закаленные люди, как раввины, вряд ли ходили в «мантиях», то есть в плащах. Это не очень удачная деталь. Подобные оговорки ставят под сомнение правдивость всего рассказа.

Но есть и более серьезные основания для сомнений. Надо было знать Александра Ивановича, советского журналиста, никогда ни к какому иудаизму не имевшего отношения, чтобы понять фантастичность всей истории. Кроме того, Александр Иванович был человеком трезвым и прагматичным. Что же за такой «верный способ» он выбрал? Мог ли он не понимать, что в те времена вмешательство еврейских религиозных организаций способно было только ухудшить положение Иосифа, но уж никак не спасти его? А если это вмешательство и произошло, то где же его следы в «деле Бродского»? Этот мотив ни единого раза не всплывал ни на одном этапе.

В отличие от Бобышева, чей визит был эпизодом (хотя, как видим, необыкновенно удачным), я встречался с Бродским в эти недели — до отъезда его в Москву в конце декабря — почти ежедневно. Мы постоянно обсуждали ситуацию, но никогда Иосиф не говорил о подобной возможности.

Несколько раз я видел у него Марину.

Описывая свой визит к Бродскому, Бобышев сообщает: «На мой вопрос, что он собирается предпринимать, ответил вопросом:

— Зачем?

— Как “зачем”? Чтобы защищаться. Доказать, например, что стихи не твои. Я готов засвидетельствовать где угодно, предъявить рукописи.

— Дело совсем не в стихах...» (с. 353).

Несколько приведенных в фельетоне стихотворных отрывков принадлежали Бобышеву. Но Бродский был совершенно прав. Дело было не в стихах. (Иосиф, как правило, говорил именно «стишки».) Мы вообще не понимали, насколько ситуация серьезна.

Иосиф вовсе не склонен был пассивно ждать развития событий. Он написал подробный и резкий фактологический разбор фельетона. Марина, которой этот текст казался, как, впрочем, и мне, излишне вызывающим, попросила меня его отредакти-

ровать. Иосиф очень нехотя согласился, но затем не принял ни одной моей правки. Как вскоре стало ясно, тон его ответа ни на что повлиять не мог — в любую сторону. Текст этого разбора я опубликовал, с разрешения Бродского, в 1989 году в «Неве» № 2, в очерке «“Дело” Бродского», а затем в книге «Переключка во мраке». Желающие могут с ним ознакомиться и понять, в каком настроении был тогда Бродский. Ничего похожего на заискивающего перед «раввинами» суетливого юношу.

Бобышев считает, что Бродский намеренно «обострял» ситуацию, и стоило ему поступить на работу, как все бы улеглось. Это иллюзия. Как известно, Лернер с благословения КГБ добился, чтобы с Иосифом расторгли договор в издательстве «Художественная литература», мешавший квалифицировать его как тунеядца. С любой работы его бы немедленно уволили, ибо вопрос был уже решен. Арест был отсрочен отъездом Иосифа в Москву.

Для чего Бобышеву понадобилось воссоздавать весьма сомнительную историю с посещением «раввинов»? Разумеется, для радикального вывода: «По этой линии он и достиг многих, если не всех, успехов».

Вот, стало быть, в чем причина «многих, если не всех, успехов» Бродского. Его стихи, то, что он писал до, во время и после ссылки, к «успехам» отношения не имеет. Все дело в «национально-религиозном» аспекте происшедшего, вмешательстве «раввинов». Сионистский заговор, лоббирование по национальному признаку.

Идея не Бобышеву принадлежит. Он, надо полагать, пришел к ней в результате многолетних раздумий. Она, идея, родилась «по ту сторону». Жена Всеволода Воеводина сказала писателю Меттеру, который был возмущен поведением ее сына: «Ну, конечно! Он же ваш еврейский Пушкин!» При том что эта дама сама была еврейкой.

Приблизительно так же объяснял жизненную карьеру Бродского на Западе и знаменитый Лернер в фильме «Черный крестный».

Разумеется, сильный элемент антисемитизма в «деле Бродского» был. Но это было, так сказать, дополнительное удовольствие для власти. И уж совсем не главным было это для тех, кто пытался Бродского защитить. И Нобелевскую премию ему вряд ли дали как гонимому еврею.

Что же касается «национально-религиозного» мотива, хочу сообщить Бобышеву, рискуя его огорчить, что среди молодых литераторов, подписавших письмо по повелению суда, было несколько твердых антисемитов, которых еврейство Бродского вряд ли вдохновляло. Один из подписантов вскоре возглавил литературную секцию клуба «Родина» и написал обширный донос на своих сотоварищей по объединению при «Советском писателе», обвиняя их в сионизме, другой и вообще убил человека за то, что он еврей...

Просто все ощутили свою полную незащитность перед произволом.

Для того чтобы подтвердить тезис — Бродский занял не свое место, — Бобышев выбрал не самый убедительный для нормальных людей прием.

Но этот прием — не единственный.

Придется привести еще одну цитату. «Возникла также сильная, сплоченная поддержка и в “свете”, “миру” (не только, стало быть, в среде раввинов. — Я. Г.), то есть в части общества, называющей себя свободомыслящей или даже просто мыслящей интеллигенцией, к которой принадлежал наш круг. Яков Гордин стал собирать подписи протеста среди сочувствующих литераторов. Под одним из таких обращений подписался и я. Но “пафос” этой компании был в утверждении исключительности таланта гонимого поэта, и уже это должно было ограждать его от преследований. Такой подход неизбежно ставил вопрос: а если он не такой уж исключительный, то что ж, и дави его? Но в ответ компания твердила, нарастая: нет, именно исключительный, великий, величайший, гениальный. И это — действовало» (с. 354).

Высокая литературная репутация Бродского, стало быть, искусственно создана «компанией»?

На кого действовало — непонятно. Власть на обращение к ней не реагировала, а если реагировала, то газетной бранью. Но не в этом суть. Суть в том, что версия, изложенная Бобышевым и необходимая ему для вышеозначенной цели, — ложна.

Письмо в секретариат Ленинградской писательской организации, под которым действительно подписался Бобышев, было единственным групповым обращением⁴. Его подписал пятьдесят один «молодой литератор». Потом двое сняли свои подписи — их замазали чернилами, — и осталось сорок девять. К сожалению, свободомыслящая ленинградская интеллигенция в большинстве своем — за небольшими исключениями — никакой активности в это время не проявила.

Ни о какой гениальности или исключительности Бродского в письме речи не было. Черновик его был написан Давидом Яковлевичем Даром, с которым — как с опытным тактиком — я консультировался. Он убедил меня, что написанный мной вызывающий текст может только ухудшить положение Иосифа, а что писать надо не столько «за Бродского», сколько «против Воеводина». Евгений Воеводин совершил, если говорить юридическим языком, подлог и лжесвидетельство. Он выдал в своем выступлении на суде сочиненную им характеристику Бродского за мнение Комиссии по работе с молодыми авторами, в которую, в частности, входили свидетели защиты Эткинд и Грудинина, равно как и Дар. Подлог тут же обнаружился, но судья Савельева это обстоятельство проигнорировала.

Пафос письма, написанного мной по схеме Дара, — в его редактуре, насколько я помню, принимали участие Игорь Ефимов и Борис Иванов, — заключался отнюдь не в восхвалении Бродского, а в возмущении тем фактом, что представитель Союза писателей ввел в заблуждение наш справедливый суд, а это, в свою очередь, помешало объективному рассмотрению дела. На этом основании молодые литераторы требовали смещения Воеводина с поста секретаря комиссии и пересмотра дела их товарища, молодого переводчика и поэта, — не более того. Подписи собирал не только я. Этим же активно занимались Игорь Ефимов и Борис Иванов.

Собственно Бродскому в письме был посвящен один только пассаж: «Особенно недостойно повел себя Воеводин на суде над молодым поэтом и переводчиком И. Бродским, которому предъявлялось обвинение в тунеядстве. Мы убеждены, что справедливость по отношению к И. Бродскому будет восстановлена в законном порядке, но Е. Воеводин, выступивший на суде свидетелем обвинения, действовал так, чтобы не допустить справедливого решения дела». И еще несколько фраз в том же духе. Никаких эпитетов, никаких оценок талантов Иосифа в письме не было вообще⁵.

Как уже говорилось, никакого влияния на ход событий наше письмо не имело. Первый его экземпляр хранится теперь где-то в архиве Генеральной прокуратуры, куда мы его отправили после неудачных попыток воздействовать на Союз писателей. Второй экземпляр с натуральными подписями остался у меня и был опубликован в упомянутом очерке и книге. Бобышев при желании может освежить память и убедиться в искусственности своих построений. Как бы это ни было для него огорчительно.

Бобышев, надо отдать ему справедливость, в общественном отношении вел себя безукоризненно. Он действительно — как и рассказывает — написал заявление в Комиссию по работе с молодыми авторами, настаивая на своем авторстве приведенных в фельетоне стихов и обличая «зарвавшихся фельетонщиков», «оболгавших поэта И. Бродского». Он и в самом деле напечатал это заявление у меня дома, на моей машинке.

⁴ Если не считать предложения нескольких ленинградских писателей и ученых (Д. Е. Максимова в том числе) взять арестованного Бродского на поруки и нескольких индивидуальных писем в «Вечерний Ленинград» и «Смену».

⁵ Я. Гордин. «Переключка во мраке». СПб, 2000, с. 193.

Я и после скандала относился к Бобышеву более лояльно, чем многие наши общие друзья и знакомые, не подававшие ему руки, хотя снял посвящение ему со своего стихотворения. Сейчас не могу объяснить причину моей терпимости. Может быть, потому, что я знал Марину очень давно, еще девочкой, роковой женщиной она мне отнюдь не казалась. Она с Иосифом бывала у нас, и, наблюдая их вместе, мы с женой никак не думали, что для Иосифа эти отношения столь серьезны... Я любил Иосифа, мне было тяжело видеть, в каком ужасающем состоянии приехал он из Москвы перед своим арестом. И тем не менее... У меня не было ни малейшего сочувствия к тому, что совершили Марина и Дима в страшный для Иосифа момент. И никакие объяснения и оправдания меня и сегодня не убеждают. Я со стыдом вспоминаю чудовищную жестокую глупость, которую сделал я сам, поддавшись уговорам Жени Рейна и взяв с собой в Норинское, куда мы с Игорем Ефимовым поехали в октябре 1964 года, поэму Рейна «Глаз и треугольник». Женя почему-то решил, что Иосифу будет интересно прочитать поэтическое описание его личной драмы. Когда я по приезде отдал Иосифу рукопись, он пробежал ее глазами, мучительно сморщился и, схватившись характерным жестом за голову, сказал: «Зачем ты привез мне это?».

Я не знал — что ответить. Он убрал рукопись. И больше мы об этом не говорили.

Быть может, тогдашняя моя странная терпимость помогла сегодня преодолеть внутреннее сопротивление, которое долго не давало мне начать эту статью...

В «человекотексте» есть и еще один слой, принципиально важный для автора, — описание жестокого и несправедливого остракизма, которому он был подвергнут, и сведение счетов с теми, кого он считает виновными в этой несправедливости. И уж тут виноваты все, кроме самого Бобышева. «...Я за “галиками” признавал их большую, даже неограниченную и безнаказанную возможность вредить за спиной, мазать, гадить, чернить и плевать, сплетничать и клеветать, приклеивать ярлыки, вешать собак, подкладывать свиней и еще многое-многое другое» (с. 363).

Бобышев совершенно напрасно разворачивает столь ужасающую картину. Речь шла всего лишь о том, что друзья («галиками» он называет, издевательски переиначивая имена, своих друзей) сочли его поведение безнравственным. Заводить роман с девушкой своего, пускай и вчерашнего, друга, когда тот находится в психиатрической больнице и ему грозят тяжкие неприятности — не очень-то красиво. Вот, собственно, и все. Но событие представляется Бобышеву в ином масштабе: «А вот Дракон либерального мифотворчества или “прогрессивного” общественного мнения, против которого я, оказывается, выступил, был не менее когтист и клыкаст, чем его официально-государственный собрат» (с. 371). Разница всего лишь в том, что либералы-прогрессисты не одобрили поведения Бобышева и перестали с ним здороваться, а их «официально-государственный собрат» пропустил Бродского через жернова травли, ареста, суда, ссылки.

Не стоит делать из банальной истории с сильным привкусом столь же банальной непорядочности «драму шекспирову». Ничего не поделаешь, подлинным героем высокой драмы оказался тот, кто, по мнению Бобышева, занял не свое место.

А если судьба Бобышева и в самом деле драматична, то автором этой драмы стал исключительно он сам. Им он по сию пору и остается, сводя счеты с Бродским, Мариной, «светской чернью» — как он пишет, — в лице то Марамзина, то Битова, то Ефимова, то Самуила Лурье, снедаемый надеждой, что «история все расставит по своим местам» и Бродскому укажут на его истинное место.

Блажен, кто верует...

P.S. Мне было крайне печально писать все это. Не только потому, что с Женей Рейном мы были много лет близкими друзьями, а с Димой Бобышевым приятельствовали. Я вспоминал большое, веселое, яркое содружество конца пятидесятых — начала шестидесятых, которое Дима в своем «человекотексте» верно называет «нашим кругом». И во что все это превратилось...

«Скучно на этом свете, господа!»